



Д. И. ПИСАРЕВ

Русский Дон-Кихот

(Сочинения И. В. Киреевского, I и II т. Москва. 1861 год)

I

Ничто не может быть бесцветнее и неопределеннее общих выражений: обскурант, прогрессист, либерал, консерватор, славянофил, западник; эти выражения нисколько не характеризуют того человека, к которому они прикладываются; они надевают непрошенный мундир на его умственную личность и вместо живого человека, мыслящего и чувствующего по-своему, показывают нам неподвижную вывеску замкнутого круга убеждений. Чем даровитее и замечательнее рассматриваемая личность, тем пошлее кажутся мне общие эпитеты, прилагаемые к ней такими критиками, которые не хотят или не умеют вдуматься в ее личные особенности, проследить ее индивидуальное развитие и, таким образом, вместо голого термина дать оживленную характеристику.

Если бы подойти к сочинениям И. В. Киреевского так, как подошел к ним критик «Современника»¹, то с ним порешить было бы очень нетрудно. Причислить его к самым мрачным и вредным обскурантам вовсе не мудрено; за цитатами дело не станет; из его сочинений можно выписать десятки таких страниц, от которых покоробит самого невзыскательного читателя; ну, стало быть, и толковать нечего; привел полдюжины самых пахучих выписок, поглумился над каждою в отдельности и над всеми в совокупности, поспорил для виду с автором, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своих воззрений, завершил рецензию общим прогрессивным заключением, и дело готово — статья идет в типографию.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Напасть на Киреевского не трудно, да толку-то в этом мало. Бо-

роться с ним незачем, потому что его деятельность уже принадлежит прошедшему; если же мы останавливаемся на нем как на совершившемся факте, то мы должны или объяснить его по мере сил, или сознаться в том, что мы объяснить не умеем; а поработать над объяснением личности Киреевского как любопытного психологического факта — право, стоит. Друзья и единомышленники Киреевского скажут, конечно, что его следует изучать как мыслителя, что его должно уважать как двигателя русского самосознания, что принесенная им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями согласиться невозможно: Киреевский был плохой мыслитель, — он боялся мысли; Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, он даже не затронул его; его статьи никогда не производили впечатления; их читали мало, и теперь их совсем забыли, несмотря на то, что последняя из них была написана всего лет семь тому назад; пользы Киреевский не принес никакой, и если последующие поколения по какому-нибудь чуду запомнят его имя, то они пожалуют только о печальных заблуждениях этого даровитого человека. Если бы Киреевскому удалось составить себе обширный круг читателей и приобрести себе значение в литературе, то влияние его идей составило бы самый яркий антагонизм с пропагандою Белинского. Всякому честному деятелю литературы пришлось бы воевать с ним всеми силами своего пера; против него поднялись бы все люди, сколько-нибудь дорожащие мыслию; за него стали бы только люди очень ограниченные или очень недобросовестные. А сам Киреевский был человек очень неглупый и в высшей степени добросовестный — отчего же он хотел остановить разум на пути его развития? отчего он порывался поворотить его назад к младенческим его годам? Вот в этих-то пунктах и заключается психологический интерес тех вопросов, на которые наводит чтение сочинений Киреевского и приложенных к ним материалов для его биографии.

II

И. В. Киреевский родился в 1806 году и вырос в деревне своих родителей. Отец его умер, когда ему было шесть лет, а мать его, через пять лет после смерти своего мужа, вышла замуж за Елагина. Молодой Киреевский привязался к своему отчиму и вырос под его влиянием. Доброе согласие его с своим семейством продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось

относиться критически к личностям своих родственников, и поэтому он не испытал того тяжелого разочарования, которое переживают почти все люди, начинающие мыслить. Вероятно, детство Киреевского оставило в его душе самое светлое воспоминание; до конца жизни он дорожил теми лицами, которые управляли его первоначальным воспитанием; его совершенно удовлетворяли их педагогические приемы, их воззрения на жизнь, их отношения к разным практическим и теоретическим вопросам; одобряя их понятия, Киреевский сам успокоивался на них и не чувствовал необходимости стремиться к чему-нибудь более разумному; спокойно и приятно проведенное детство вместе с неизгладимыми воспоминаниями оставило в его уме такой густой осадок допотопных идей, которого не могли сдвинуть с места ни житейские волнения, ни теоретические размышления. Любознательность Киреевского была очень велика — он много читал, серьезно задумывался над прочитанным, но как только вычитанные идеи начинали разрушать образы, населявшие его детство, так он отстранял их прочь, чистосердечно называя их заблуждениями и не считая даже нужным останавливаться на вопросе — точно ли это заблуждения. Киреевский любил те понятия, с которыми он свыкся в детстве; а когда человек любит какую-нибудь идею, тогда бывает очень трудно убедить его в ее несостоятельности; чтобы опрокинуть в голове его эту любимую идею, необходим сильный толчок, крутой переворот или постоянное влияние другого человека, стоящего выше его по развитию и смотрящего на вещи непредубежденными глазами. Ни того, ни другого не пришлось испытать Киреевскому.

«Мы, — пишет он г. Кошелеву, мечтая о жизни, — возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудив любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога»².

В начале 1830 года Киреевский, воодушевленный этими высокими стремлениями, уехал за границу; ему в это время пришлось пережить глубокое огорчение; он сделал предложение любимой женщине и получил отказ; это событие потрясло его здоровье, и медики предписали ему путешествие как лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило вдаль стремление к широкой жизни мысли; ему было уютно в московском кругу родственников и друзей, и спокойное наслаждение равными отношениями с окружающими людьми было для него дороже кипучей деятельности и разнообразных волнений ум-

ственной жизни. «Я возвращусь, возвращусь скоро, — писал он через несколько дней после своего отъезда из Москвы, — это я чувствую, расставшись с вами»³.

Мягкосердечный московский юноша пробыл за границей всего 10 месяцев, и заграничная атмосфера не успела произвести в нем никакого благотворного изменения. Он мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогие старушки Белокаменной. Он слушал лекции известнейших профессоров, усвоивал себе фактические сведения, сообщал в письмах к родственникам и друзьям остроумные заметки о методе и манере их преподавания, и между тем сам оставался неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки.

Слушая лекции Шлейермахера, профессора теологии, Киреевский находил, что Шлейермахер слишком много рассуждает и что современному мыслителю следует воздерживаться от анализа подробностей. Избавляю себя от обязанности выписывать то место, в котором Киреевский произносит суждение над Шлейермахером, и прошу читателей моих, желающих познакомиться с этим суждением, пробежать в I томе 42-ю страницу материалов.

В Берлине Киреевский познакомился с Гегелем, и на него сильно подействовала чарующая мысль, что он окружен *первоклассными умами Европы*; он выразил эту мысль в письмах на родину; с первоклассными умами он говорил «о политике, о философии, о религии, о поэзии»; как на него подействовали суждения первоклассных умов об этих высоких предметах, он не пишет. Развивал ли он сам перед ними свои наивно-ребяческие понятия и нравилось ли им его нетронутое простодушие, он также не сообщает. Сношения Киреевского с Гегелем и его знакомыми продолжались очень недолго и поэтому не успели произвести прочного впечатления. Киреевский с любопытством осмотрел мнения первоклассных умов, как осматривают диковинки какого-нибудь музеума, и оставил эти мнения нетронутыми, вероятно потому, что они резко расходились с его стремлениями и казались ему непригодными для жизни.

В конце 1830 года Киреевский возвратился в Россию. Впечатления его заграничной жизни глубоко запали в его восприимчивый ум и выразились в искреннем сочувствии к западному просвещению, в сильном желании провести в русскую жизнь начала лучшей цивилизации. В течение 1831 года он собрал материалы для издания журнала, составил себе круг сотрудни-

ков и в 1832 году выпустил в свет две первые книжки журнала «Европеец». Сочувствие Киреевского к западному просвещению обнаружилось в его статье «Девятнадцатый век», открывшей собою его журнал и выразившей в общих чертах ту программу, которой намерен был следовать издатель. В этой статье проведена мысль о необходимости постоянного умственного общения между Европой и Россией. «Ибо просвещение одинокое, — говорит Киреевский, — китайски отделенное, должно быть и китайски ограниченное: в нем нет жизни, нет блага, ибо нет прогрессии, нет того успеха, который добывается только совокупными усилиями человечества»⁴. В этой статье можно заметить только один существенно важный недостаток — крайнюю голословность и бездоказательность. В подтверждение своих идей Киреевский не приводит ни одного факта. Вся статья вертится на отвлеченных умозрениях; Киреевский составляет себе какую-то химическую формулу европейской образованности и потом, отвернувшись от действительных фактов, смотрит только на эту формулу, передвигает и перетасовывает ее ингредиенты и подводит такие итоги, которые столько же похожи на действительность, сколько список примет, означенных в отпускном билете, похож на живого владельца этой бумаги. Все сочувствие Киреевского к европейской цивилизации улетучивается в общих местах и в фразах; если оно не выражается в междометиях и восклицаниях, то это происходит единственно оттого, что Киреевский старается везде выдерживать тон серьезного и основательного мыслителя. На самом же деле в его статье, кроме внешнего тона, нет ничего солидного и основательного; он берет из Гизо (не указывая на источник) его мнение о том, что европейская цивилизация сложилась из трех элементов: из остатков классического мира, из христианства и из германского варварства, и на эту тему начинает разыгрывать вариации очень однообразные, утомительные и бесполезные. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута в этой характеристике девятнадцатого века. Мы не видим даже в общих чертах, как живут люди в Европе, как смотрят друг на друга различные сословия, к чему стремятся отдельные личности и целые партии, какие потребности жизни отражаются в литературе. Видно, что благоговение Киреевского перед первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нет дела до того, что ест французский блузник, нет дела до того, что говорит на своем митинге английский ремесленник, нет дела до того, как богатая буржуазия эксплуатирует пролетариев и как буржуа, хозяин в своем доме и в своей семье, давит индивидуальное развитие своих сы-

новой и дочерей; бытовые вопросы, возникающие в европейской жизни и составляющие ее животрепещущий и общечеловеческий интерес, проходят мимо его просвещенного ума, занятого недостигаемо высокими интересами и аристократическими идеальными стремлениями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Киреевский, очевидно, думает, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины две немецких профессоров философии, олицетворяют в своих особах самые характерные моменты европейской цивилизации. Киреевскому кажется, что мысль Шеллинга о сущности истинного познания имеет мировое значение и что, высказавши эту мысль в научной форме, Шеллинг сделал истинно великое открытие, просто вконец разодолжил все человечество. Придавая такое колоссальное значение немецкой умозрительной философии, Киреевский, конечно, забывает, что вряд ли одна сотая часть всего населения Западной Европы интересуется диалектическими построениями немецких профессоров и что даже эта сотая не выносит для себя из этих диалектических построений ничего существенного. Если под именем цивилизации подразумевать те формы, в которые укладывается жизнь отдельного человека и народа, то умозрительная философия получит право участвовать в картине цивилизации настолько, насколько она содействует развитию и изменению бытовых форм и жизненных отношений. В этом случае она электрическим током проходит через тысячи работающих голов; когда же эта умозрительная философия ограничивается построением формул, тогда она оставляется на долю досужим людям, которых не помяла железная рука вседневной заботы и которым приятно носиться в отвлеченных пространствах, вместо того чтобы смотреть на горе окружающих людей и помогать им делом и советом.

Умозрительная философия — пустая трата умственных сил, бесцельная роскошь, которая всегда останется непонятною для толпы, нуждающейся в насущном хлебе. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллинг, этого, конечно, не понял и Киреевский. Вместо того чтобы взглянуть на умозрительную философию как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдвлены и задержаны, Киреевский преклоняется перед философами как перед вожаками европейской мысли, любитесь ими как цветом и надеждою европейской цивилизации. Замечательно, что масса читателей обыкновенно сочувствует мыслителю только в каком-нибудь одном, часто очень узком, часто чрезвычайно широ-

ком применении его идеи. Масса берет только практический вывод и обыкновенно делает этот вывод так смело и так резко, что сам мыслитель пугается и пятится назад. Анабаптисты и крестьянские войны были практическим выводом идей Лютера и Меланхтона, и Лютер вместе с Меланхтоном испугались и прокляли свое собственное дело. Так же точно Гегель, Шеллинг и все прочие предводители «немецкого любомудрия» прокляли бы те неожиданные выводы, которые делает Киреевский на основании их идей и их деятельности. Этим «первоклассным» умам Европы пришлось бы краснеть от стыда и досады, если бы они узнали, что их в России глядят по головке за то, что они показали неудовлетворительность чистого разума, составили реакцию против энциклопедистов XVIII века и, таким образом, натолкнули европейский Запад на возвратный путь. Киреевский как мягкосердный московский юноша, сросшийся с идеями своего родимого города, увидел и понял в немецких философах только то, что имело сходство с его стремлениями. Чтобы согласить свое уважение к первоклассным умам Европы с своею слепую привязанностью к тому, что толковали ему с детства маменька да нянюшка, Киреевский употребил довольно ловкий маневр: Киреевский говорит, что Гегель тем велик и полезен, что, доведя рационализм до крайних пределов, он показал недостаточность чистого разума и убедил людей в необходимости искать других источников познания, «очистил дорогу к храму живой мудрости». Вот, думает Киреевский, Запад увидел, что на своих философах далеко не уедешь; вот он погорюет, погорюет, да и обратится к нам за советом, а мы, конечно, дадим ему совет в московском духе; Запад прислушается, увидит, что это «добро зело», скажет, подобно князю Владимиру, что, отведав сладкого, уже не хочешь горького, и заживем мы с Западом душа в душу, как жили с ним с лишком лет тысячу тому назад. В таких-то красках рисуются Киреевскому будущие отношения между цивилизациями России и Европы. Эти краски в его статье «Девятнадцатый век» положены так легко, что они проходят незаметными для невнимательного читателя; Киреевский в этой статье напирает всего больше на то, что мы должны сблизиться с Европою и заимствовать у нее образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будет и на нашей улице праздник; придет к нам Европа просить ума-разума, и мы великодушно поделимся с нею нашими духовными благами. В статье «Девятнадцатый век» выражались, таким образом, два главные момента умственной жизни Киреевского: на эту статью положили свою печать детство Киреевского и его

путешествие за границу; первое отразилось в теплоте чувства и в робости мысли, второе — в искреннем, но голословном и необъясненном сочувствии к европейской цивилизации. Чему сочувствует Киреевский — мы не видим. На что ему нужна Европа — не понимаем. Словом, во всей статье переплетается московский сентиментализм с каким-то сердечным влечением к европейскому Западу. При этом должно заметить, что это неопределенное, сердечное влечение не имеет ничего общего с сознательным уважением зрелого человека к оцененной и проверенной идее.

III

Если бы Киреевский, управляя журналом, продолжал уяснять себе и публике свои стремления и симпатии, то, вероятно, он договорился бы до каких-нибудь осязательных результатов; он увидал бы противоречие между европеизмом и московскою сентиментальностью и склонился бы определенным образом на ту или на другую сторону. Пока впечатление заграничного путешествия было еще свежо и сильно, можно было надеяться, что западный элемент возьмет верх над воспоминаниями детства; но тут, к несчастью, непредвиденные обстоятельства насильственно прервали деятельность Киреевского. «Европеец» прекратился на первых двух книжках. Люди с сильным характером раздражаются неудачами; их энергия удваивается при борьбе с препятствиями; их убеждения становятся строже и последовательнее, обозначаются отчетливее, резче и неумолимее. Но с Киреевским этого не могло случиться; он упал духом, перестал писать, стал внимательно пересматривать свои убеждения и во многом изменил их основной характер. Он, конечно, не прививал к себе искусственно таких идей, которые гармонировали бы с обстоятельствами; он не стал бы себя насиловать, не поплыл сознательно по течению, но, как человек в высшей степени впечатлительный, он испытал от этой неудачи самое сильное потрясение; встревоженный и огорченный, он усомнился в самом себе; ему пришло в голову, что, может быть, это само провидение дает ему спасительный урок, что, может быть, он заблуждался и указывал своим согражданам такой путь развития, который не соответствует их потребностям. Когда в уме Киреевского началось это тяжелое раздумье, когда ему, таким образом, представился случай под влиянием житейской невзгоды выковать себе убеждения зрелого человека, тогда воспоми-

нания детства в полной яркости и отчетливости представились его встревоженному воображению. Окружающие впечатления, Москва и Долбино (родовое имение Киреевских), взяли верх над европейскими тенденциями, пробудившимися во время заграничной поездки и выразившимися в прерванной деятельности молодого журналиста. Эти тенденции, в которых было так много неясного, но вместе с тем так много искреннего, эти тенденции, из которых, при других условиях, могло выработаться много хорошего и разумного, отошли на задний план, завяли и зачахли, уступили свое место другим воззрениям, мрачным, бесплодным и безжизненным.

Если можно сближать литературный тип с личностью действительно существовавшего человека, то я позволю себе сравнить участь Киреевского с судьбою Лизы из «Дворянского гнезда» Тургенева. И Киреевский и Лиза носили в себе с детства зародыши того разложения, которое со временем погубило и извратило их богатые умственные силы; оба они, и Киреевский и Лиза, были способны жить разумною жизнью; если бы им благоприятствовало счастье, то Лиза не пошла бы в монастырь, а Киреевский остался бы верен чисто европейским тенденциям; но когда над ними обрушилась беда, тогда в них поднялись все их мистические инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекратив издание «Европейца», Киреевский сосредоточился и в продолжение двенадцати лет написал только две небольшие статьи; когда он снова начал высказываться в печати, тогда направление его мыслей оказалось уже существенно измененным. Составитель материалов для биографии Киреевского находит, конечно, что это изменение было важным шагом вперед; я скажу с своей стороны, что это изменение было глубоким и окончательным падением.

Обо многих людях, шедших по тому пути, по которому пошел Киреевский, можно сказать просто: туда им и дорога! Но о Киреевском нельзя не пожалеть, как нельзя, например, не пожалеть о Гоголе. Несмотря на то, что его ум никогда не дошел до самоосвобождения, ему невозможно отказать в значительной степени даровитости. Он не доводит никакой идеи до последних пределов, но в диалектическом развитии этой идеи он всегда обнаруживает гибкость ума и логическую находчивость. Логика Киреевского скована пристрастиями и предрассудками, но, отстаивая эти пристрастия и предрассудки, он пускает в ход самые разнообразные диалектические приемы и действует на читателя не силою последовательности, а разнообразием и наглядностью аргументов. Он не мыслитель; он просто человек,

горячо чувствующий и старающийся убедить читателя в нормальности и законности своих симпатий. Люди, одаренные от природы непобедимую логикой здравого смысла, конечно, увидят, к чему клонятся усилия Киреевского, и не поддадутся ни его доводам, ни теплоте чувства, разлитого в его статьях.

Что же касается до людей слабых, чувствительных и способных увлекаться, то на них могут подействовать в высшей степени тенденции Киреевского, прикрытые приличною литературною формою, согласенные наружным образом с интересами гуманного развития и подкрашенные научными терминами и именами новейших философов.

Когда Киреевский толкует об общих исторических вопросах, о потребностях народа и человечества, тогда он оказывается совершенно не на своем месте. У него не хватает широты взгляда и силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всем их величии и чтобы, обсуживая их, не забиться в какую-нибудь тущобу, из которой нет выхода на свежий воздух. Об Европе и о России он судит вкривь и вкось, не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому. Тот же Киреевский, имея дело с частным вопросом, с небольшим явлением, не превышающим понимания обыкновенного человека, оказывается очень тонким ценителем, очень остроумным критиком и беспристрастным судьей.

В его мелких статьях рассыпано много удачных замечаний о нашей вседневной жизни, об уродливых и смешных явлениях, встречающихся на каждом шагу в нашем несложившемся обществе. Вот, например, что говорит Киреевский в своей статье «Горе от ума» на московском театре»:

«Философия Фамусова и теперь еще кружит нам головы; мы и теперь, так же как и в его время, хлопочем и суетимся из ничего, кланяемся и унижаемся бескорыстно, только из удовольствия кланяться; ведем жизнь без цели, без смысла; сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления; ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться. И теперь, так же как при Фамусове, дома наши равно открыты для всех: для званных и незванных, для честных и для подлецов. Связи наши состояются не сходством мнений, но сообразностью характеров, не одинаковою целью в жизни и даже не сходством нравственных правил; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай нас сводит, случай разводит и снова сближает без всяких последствий, без всякого значения»⁵.

Эти слова, по моему мнению, выражают верный и беспощадный взгляд на пустую жизнь нашего общества, на отсутствие в нем общих интересов, на узкую ограниченность той сферы, в которой мы живем и стараемся действовать. Ясно, что Киреевский, выражая подобные мысли, не мирился с несовершенствами нашей действительности и считал необходимым исправление этих недостатков. Причину недостатков он видит в том, что «из-под европейского фрака выглядывает остаток русского кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица». Средство исцеления заключается, по его мнению, в сближении с Европой, в усвоении общечеловеческих идей, в уничтожении особенности и неподвижности. Все эти идеи здравы и верны; в положительной их части, т. е. там, где Киреевский указывает на то, что должно делать, можно заметить ту же отвлеченную голословность, которую мы уже видели в статье «Девятнадцатый век». Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисления недостатков, то должно сознаться, что в ней много справедливого и даже оригинального. Киреевский глубоко чувствовал безалаберность русской жизни, и это чувство выразилось в его произведениях в очень разнообразных формах; порою он является обличителем житейских нелепостей, порою выражает свое сочувствие к тем лучшим единицам, которые страдают в душной атмосфере, порою сам тоскливо стремится вон из действительности в мир мечты или в область отвлеченного умозрения. В небольшой статье его «О русских писательницах» можно найти несколько горячо прочувствованных страниц. Киреевский понимает, что женщина, чувствующая потребность высказаться перед своими согражданами, принуждена бороться в России со многими и положительными и отрицательными препятствиями; он понимает, что труд женщины далеко не получил еще у нас права гражданства, что женщина, предоставленная своим собственным силам, принужденная преодолевать предубеждение одних, равнодушие других, непонимание третьих, рискует умереть с голоду, несмотря ни на свою даровитость, ни на свое образование, ни на искреннее стремление к честному и общепользному труду. Если этого уже нет теперь, если в наше время даровитая писательница пользуется всеобщим уважением, то это было иначе в тридцатых годах, когда писал Киреевский; тогда вообще круг читающей публики был гораздо теснее, и, кроме того, предубеждение против литературного труда женщины имело свое значение в обществе и в семействе. Вот, например, краткий рассказ Киреевского об одном замечательном факте тогдашней литературы и тогдашней жизни:

«Недавно, — говорит он, — Российская академия издала стихотворения одной русской писательницы, которой труды займут одно из первых мест между произведениями наших дам-поэтов и которая до сих пор оставалась в совершенной неизвестности. Судьба, кажется, отделила ее от людей какою-то страшною бездною, так что, живя посреди их, посреди столицы, ни она их не знала, ни они ее. Они оставили ее, не знаю для чего; она оставила их для своей Греции, — для Греции, которая, кажется, одна наполняла все ее мечты и чувства; по крайней мере о ней одной говорит каждый стих из нескольких десятков тысяч, написанных ею. Странно: семнадцать лет, в России, девушка бедная, бедная с всею своею ученостью! Знать восемь языков, с талантом поэзии соединять талант живописи, музыки, танцеванья, учиться самым разнородным наукам, учиться беспрестанно, работать все детство, работать всю первую молодость, работать, начиная день, работать отдыхая; написать три больших тома стихов по-русски, может быть, столько же на других языках; в свободное время переводить трагедии, русские трагедии, — и все для того, чтобы умереть в семнадцать лет в бедности, в крайности, в неизвестности!»⁶

В этом живом рассказе о неизвестных трудах, об этой глухой борьбе с нуждою, об этой молодой жизни, испепелившейся в бесплодных усилиях, слышен голос человека, способного чувствовать и понимать чужое горе. В этом рассказе слышится страшный укор нашей жизни. Отчего девушка даровитая, работающая изо всех сил, обладающая значительными сведениями, тратит время на бесполезные стихи о Греции, не находит в русской жизни материалов для своей деятельности и умирает беспомощная, непризнанная, никому не нужная, никем и ничем не согретая?

Киреевский глубоко сочувствует тем постоянным огорчениям, которые впечатлительная душа женщины испытывает ежеминутно при разнообразных столкновениях с уродливыми явлениями нашей жизни. Он понимает, что женщина, одаренная живым эстетическим чувством, может и должна стремиться в какую-нибудь более изящную и гармоническую среду.

«Италия, кажется, сделалась ее вторым отечеством, — говорит он об одной из наших писательниц, — и, впрочем, кто знает? Может быть, необходимость Италии есть общая, неизбежная судьба всех, имевших участь, ей подобную? Кто из первых впечатлений узнал лучший мир на земле, мир прекрасного; чья душа, от первого пробуждения в жизнь, была, так сказать, взлелеяна на цветах искусств и образованности, в теплой ита-

льянской атмосфере изящного; может быть, для того уже нет жизни без Италии, и синее итальянское небо, и воздух итальянский, исполненный солнца и музыки, и итальянский язык, проникнутый всей прелестью неги и грации, и земля итальянская, усеянная великими воспоминаниями, покрытая, зачарованная созданиями гениального творчества, — может быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечную необходимостью, единственным, неудушающим воздухом для души, избавленной роскошью искусств и просвещения»⁷.

Любуясь изящным произведением, Киреевский невольно сравнивает гармонию этого произведения с нестройностью окружающей жизни; он чувствует разлад, существующий между миром мечты и миром серенькой действительности, и самое эстетическое наслаждение переходит в тихое чувство грусти. «Все слишком идеальное, — говорит он, — даже при светлой наружности, рождает в душе печаль, оттененную каким-то магнетическим сочувствием; такова одинокая, чистая песнь, прослышанная сквозь нестройный, ее заглушающий шум; такова жизнь девушки с душою пламенной, мечтательной, для которой из мира событий существуют еще одни внутренние»⁸. Пожалуй-ста, гг. читатели, не останавливайтесь на внешней сентиментальности, которою грешит это место; взгляните в основную мысль, вникните в то настроение, которое выразилось в этих тихих изливаниях грусти, поставьте себя на место Киреевского, перенеситесь в его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальные.

У Киреевского рассеяно в его статьях много замечательных мыслей; чисто литературная критика его отличается верностью эстетического чутья. Замечательнее других его произведений небольшая статья о стихотворениях Языкова. Приведу из этой статьи несколько выписок, выражающих общие отношения автора к общим вопросам жизни.

«Мы часто, — говорит Киреевский, — считаем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя бы в прочем жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была лишена всякого стремления к добру и красоте. Если вам случилось встречать человека, согретого чувствами возвышенными, но одаренного притом сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли в нем красоту души, и сколько таких, которые заметили одни заблуждения. Странно, но правда, что для хорошей репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда ошибаться, между тем как, в

самом деле, скажите, есть ли на свете что-нибудь безнравственнее равнодушия»⁹.

Вот замечательная мысль Киреевского об отношениях между жизнью и искусством:

«Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую область в мире прекрасного и прибавляющий, таким образом, новый элемент к поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является не главным; но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес самобытный, философический; и лицо его становится идеею, и его создания становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим на них, сколько сквозь них, как сквозь открытое окно стараемся рассмотреть самую внутренность нового храма и в нем божество, его освящающее.

Оттого, входя в мастерскую живописца обыкновенного, мы можем удивляться его искусству; но пред картиною художника творческого забываем искусство, стараясь понять мысль, в ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить в воображении то состояние души, при котором она исполнена. Впрочем, и это последнее сочувствие с художником свойственно одним художникам же; но вообще люди сочувствуют с ним только в том, что в нем чисто человеческого: с его любовью, с его тоской, с его восторгами, с его мечтою-утешительницею, одним словом, с тем, что происходит внутри его сердца, не заботясь о событиях его мастерской.

Таким образом, на некоторой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу»¹⁰.

Вот суждение Киреевского об особенностях поэзии Языкова:

«Если мы вникнем в то впечатление, которое производит на нас его поэзия, то увидим, что она действует на душу, как вино, им воспеваемое, как какое-то волшебное вино, от которого жизнь двоятся в глазах наших: одна жизнь является нам тесною, мелкою, вседневною; другая — праздничною, поэтичекою, просторною. Первая угнетает душу, вторая освобождает ее, возвышает и наполняет восторгом. И между сими двумя существованиями лежит явная, бездонная пропасть; но через эту пропасть судьба бросила несколько живых мостов, по которым душа переходит из одной жизни в другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль об отечестве, мысль о поэзии и, наконец, те минуты безотчетного, разгульного веселья, когда собственные звуки сердца заглушают ему голос окружающего мира, — зву-

ки, которыми сердце обязано собственной молодости более, чем случайному предмету, их возбудившему»¹¹.

Я, может быть, утомил читателя выписками, но мне хотелось дать возможно полное понятие о светлой стороне литературной деятельности Киреевского. В этой светлой стороне отразилась способность сочувствовать всем человеческим ощущениям и понимать чувством все человеческие слабости и страдания. Киреевский родился художником и, неизвестно почему, вообразил себя мыслителем. Он впечатлителен, восприимчив, отзывчив, способен подчиняться чуждому влиянию, увлекаться чужими идеями; у него нет умственной самобытности; он постоянно отражает в себе идеи и симпатии той среды, в которой он живет и которую любит. Бывши юношей, он жил тем, что было втолковано ему в детстве; поехавши за границу, он увлекся «первоклассными умами» Европы и начал стремиться к западному просвещению, которое было известно ему как-то понаслышке да по философским трактатам Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслышав гул московских колоколов, он крепко прирос к той родимой почве, о которой убивается журнал «Время»¹², и вообразил себя представителем славянского любомудрия, необходимого для спасения разлагающегося Запада. Но, как ни глубоко было заблуждение Киреевского, оно органически вытекало из основных свойств его характера, из тех самых свойств, которые выразились в нескольких блестящих мыслях и в нескольких горячо прочувствованных страницах.

Вот, видите ли, есть люди, которые не могут смотреть хладнокровным критическим взглядом на все, что их окружает; им необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему-нибудь, с полным самоотвержением служить какому-нибудь принципу или даже какому-нибудь лицу. Когда эти люди успевают обречь себя на служение какой-нибудь великой, истинной идее, тогда они совершают великие подвиги, становятся благодетелями своего народа и заслуживают признательность современников и потомков. Когда же они ошибаются в выборе своего кумира, тогда они делаются беспутными людьми, поступают в число гасильников и становятся тем опаснее, чем ревностнее и чисто-сердечнее увлекаются своею привязанностью к превратной идее. Киреевский чувствовал, что многие потребности просвещенного ума не находят себе удовлетворения, что многие обыденные явления оскорбляют человеческое чувство. Что же оставалось ему делать в таком положении? Оставалось бороться против тех сторон жизни, которые можно было изменить, и мириться с тем, что было не под силу отдельному человеку.

Мирысь с явлениями жизни чисто внешним образом, надо было оградить самого себя от развращающего влияния этой жизни. Надо было, отказываясь от фактической борьбы, оставаться настороже и хранить свою умственную самостоятельность среди хаоса невежества, насилия и предрассудков. Но жить таким образом, без деятельной борьбы и без страстных привязанностей, значило жить чистым отрицанием, не верить ни в себя, ни в других, ни в идею, сознавая безотрадность настоящего и сомневаясь в возможности лучшего будущего. Остановиться на таком печальном воззрении на жизнь способны очень немногие люди; чтобы ужиться с чистым сомнением в области науки и жизни, надо обладать значительной трезвостью ума и недюжинной твердостью характера. Но у Киреевского не было ни того, ни другого; страдая от особенностей жизни, он не мог ни свыкнуться с этими особенностями, ни выстрадать себе полное равнодушие к этой жизни. Уродливые явления мешали ему действовать, но они не мешали ему мечтать, и он весь ушел в мир мечты, унося с собою свою диалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себе и другим, что мечта его — не мечта, а живая действительность. Если бы Киреевский был мыслителем, если бы он заботился не об удобстве того или другого мирозерцания, а только о степени его действительной верности, тогда он не стал бы утешать себя произвольными фантазиями; если бы он был чистым поэтом, тогда он просто окружил бы себя созданиями собственного воображения, не стараясь связывать эти создания с явлениями действительной жизни. Но, к сожалению, в Киреевском соединились эти два редко совместимые элемента; он по природе своей художник, а по развитию ученик немецких философов. Он постоянно мечтает, но воспеваемые им предметы, к сожалению, вовсе не вяжутся с поэзией; вместо того чтобы изображать свои собственные чувства, настроение своей души, наконец, то или другое, мелкое или крупное событие, он берет самые отвлеченные темы и пишет поэму в прозе о европейской цивилизации, об отношениях между Западом и Россией, о новых началах в философии. Такого рода сочинения оказываются плохими поэмами и плохими рассуждениями. Личное настроение автора не может выразиться в свободном лирическом излиянии, потому что оно сковано логикою, диалектикою и физиономией действительных фактов. Что же касается до логики автора, то она, конечно, стоит ниже всякой критики, потому что ее дело — доказывать то, во что Киреевскому приятно верить. «Логический вывод, — говорит собиратель материалов, думая похвалить своего героя, —

был у Киреевского всегда завершением и оправданием его внутреннего верования и никогда не ложился в основание его убеждения»¹³. В сочинениях Киреевского хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, те места, в которых он бессознательно выражает всю полноту своего чувства. Повести Киреевского (из которых окончена только одна — «Опал») очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент; они сбиваются на аллегории или же на рассуждения на заданную тему. У Киреевского не хватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно стройное целое; у него мечтательность выражается в общем направлении мысли, а сильное воодушевление появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписал почти все те места, в которых Киреевский, увлекаясь лирическим порывом, производит на читателя сильное и вполне гармоническое впечатление. Таких мест в двух томах очень немного, и эти места тонут в сотнях дидактических, утомительно-скучных и глубокобесполезных страниц.

IV

Направление, по которому пошел Киреевский после своего двенадцатилетнего бездействия, называется *православно-славянским*. Задатки этого направления заключаются еще в основных положениях его статьи «Девятнадцатый век», но эти положения получили полное развитие и принесли обильные плоды впоследствии, в его ответе Хомякову, в письме к графу Комаровскому, в критических статьях, помещавшихся в «Москвитянке», и в последней его философской статье, украсившей собою страницы покойной «Русской беседы». Все эти статьи большею частью посвящены сравнению европейской цивилизации с русской. Существование самобытной русской цивилизации, процветавшей «во время оно» и задавленной реформой Петра, составляет в глазах Киреевского неопровержимый факт, не требующий никаких доказательств. Эта русская цивилизация восхваляется всеми возможными возгласами и причитаниями; сравнивая ее с западною, Киреевский находит, что она не в пример лучше; он останавливается на этом сравнении с особенною любовью и с трогательным патриотическим самодовольством; главное преимущество, которое он находит в русской цивилизации, заключается в том, что русская цивилизация не проникнута рационализмом и не подчинена господству разума.

Чтобы доказать, что Киреевский считает это свойство действительным и важным преимуществом и что деятельность разума кажется ему в высшей степени опасною, я приведу следующую цитату из его письма к графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнает из нее замысловатое мирозерцание Киреевского и убедится в том, что русская цивилизация стоит неизмеримо выше западной:

«Но остановимся здесь и соберем вместе все сказанное нами о различии просвещения западноевропейского и древнерусского; ибо, кажется, достаточно уже замеченных нами особенностей, для того чтобы, сведя их в один итог, вывести ясное определение характера той и другой образованности.

Христианство проникало в умы западных народов через учение одной Римской церкви, — в России оно зажигалось на светильниках всей Церкви православной; богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, — в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума, здесь — стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством логического сцепления понятий, здесь — стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; там искание наружного, мертвого единства, здесь — стремление к внутреннему, живому; там Церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного характера, — в России она оставалась не смешанною с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты, в древней России — молитвенные монастыри, сосредоточивавшие в себе высшее знание; там рассудочное и школьное изучение высших истин, здесь стремление к их живому и цельному познанию; там взаимное прорастание образованности языческой и христианской, здесь — постоянное стремление к очищению истины; там государственность из насилий завоевания, здесь — из естественного развития народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там враждебная разграниченность сословий, в древней России — их единоклюнная совокупность при естественной разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями составляет отдельные государства, здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство; там поземельная собственность — первое основание гражданских отношений, здесь собственность — только случайное выражение отношений личных; там законность формально логиче-

ская, здесь — выходящая из быта; там склонность права к справедливости внешней, здесь предпочтение внутренней; там юриспруденция стремится к логическому кодексу, здесь, вместо наружной связности формы с формой, ищет она внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господствующего мнения, здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались насильственными переменами, здесь — стройным естественным возрастаньем; там волнение духа партий, здесь незыблемость основного убеждения; там прихоть моды, здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности, здесь крепость семейных и общественных связей; там щедрость роскоши и искусственность жизни, здесь простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества; там изнеженность мечтательности, здесь здоровая цельность разумных сил; там внутренняя тревожность духа при рассудочной уверенности в своем нравственном совершенстве, у русского — глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного усовершенствования; одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественно-го и частного; в России, напротив того, — преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности»¹⁴.

Читатель должен помнить, что все великие достоинства, о которых говорит Киреевский, принадлежат только древнерусской цивилизации. Мы, современные русские люди, должны только вздыхать о том, что нам не пришлось насладиться этими благами и что мы, по своей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Исследователь древнерусского быта мог бы, пожалуй, возразить Киреевскому, что в Древней Руси было плохое житье, что там били батогами не на живот, а на смерть, что суд никогда не обходился без пытки, что рабство или холопство существовало в самых обширных размерах, что мужья хлестали своих жен

шелковыми и ременными плетками, а блюстители нравственности, вроде Сильвестра, уговаривали их только не бить зря, по уху или по видению. Много подобных возражений мог бы привести исследователь, но Киреевский не обратил бы на них никакого внимания; он сказал бы, что все это мелкие, внешние, случайные явления, не касающиеся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизации остается неприкосновенною, что принцип ее велик и непогрешим, несмотря на все проделки, творившиеся под покровом этого принципа. На такие убедительные доводы исследователь, конечно, не нашел бы ответа. Подобно этому предполагаемому исследователю, мы преклоняемся перед непонятною мудростью мыслителя-поэта и с трепетом живой надежды прислушиваемся к его обетованиям, открывающим нам перспективу лучшей, просветленной жизни. Из следующих слов его мы узнаем, что мы еще не совсем погибли, что и для нас есть возможность спасения:

«Но корень образованности России живет еще в ее народе, и, что всего важнее, он живет в его святой, Православной Церкви. Потому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто прочное здание просвещения России... Построение же этого здания может совершиться тогда, когда тот класс народа нашего, который не исключительно занят добыванием материальных средств жизни и которому, следовательно, в общественном составе преимущественно предоставлено значение — вырабатывать мысленно общественное самосознание, — когда этот класс, говорю я, до сих пор проникнутый западными понятиями, наконец полнее убедится в односторонности европейского просвещения; когда он живет почувствует потребность новых умственных начал: когда с разумною жаждой полной правды он обратится к чистым источникам древней православной веры своего народа и чутким сердцем будет прислушиваться к ясным еще отголоскам этой святой веры отечества в прежней, родимой жизни России. Тогда, вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек в глубине особенного, недоступного для западных понятий, живого, цельного умозрения святых отцов Церкви найдет самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания. А в прежней жизни отечества своего он найдет возможность понять развитие другой образованности»¹⁵.

Мне нечего прибавлять к этим словам. Они сами говорят за себя.

V

В заключение скажу несколько слов о критической статье, помещенной в «Современнике» под заглавием «Московское словенство»¹⁶. Эта статья своею бездоказательностью и голословием может поспорить с философскими поэмами самого Киреевского. Все представители православно-славянского направления — Хомяков, К. Аксаков, Киреевский — ступеваны под один колер; у всех на лбу прицеплен ярлык с надписью «славянофил», и все они совершенно лишены своей индивидуальной физиономии; славянофильство принимается за какое-то умственное поветрие, свалившееся на Москву как снег на голову и заразившее собою целый кружок людей, очень честных и очень неглупых. Внешние признаки славянофильства описаны в общих чертах, но из этого описания читатель никак не может составить себе понятия о том, как возникло это направление мысли и почему именно оно пришлось по душе Киреевскому, Хомякову и компании. Если закоренелые обскуранты смотрят на нововведения как на дьявольскую прелесть, пущенную в мир для соблазна и гибели православных христиан, то должно сознаться, что некоторые отчаянные и чересчур запальчивые прогрессисты смотрят на явления, подобные славянофильству, как на какое-то чудовищное и необъяснимое порождение духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нисколько не похожи друг на друга по образу мыслей, но те и другие, сражаясь с враждебными им явлениями, увлекаются за пределы всякого благоразумия, теряют способность хладнокровно анализировать и, впадая в декламацию, берут фальшивые ноты, вредящие тому делу, которое они защищают.

Вместо того чтобы проследить развитие Киреевского, Хомякова и других славянофилов, вместо того чтобы рассмотреть те свойства этих людей, которые породили в них недоверие к деятельности разума, словом, вместо того чтобы объяснить славянофильство как психологический факт, критик «Современника» вдается в совершенно бесплодную полемику с положениями славянофильских теорий.

Спорить с славянофилами — это, право, странно; благоразумный человек не станет ни опровергать отрывочных восклицаний, ни смеяться над несвязною речью. Он будет наблюдать — изучать развитие и причины — и сообщать результаты своих исследований другим людям, способным и желающим его слушать.

Славянофильство — не поветрие, идущее неизвестно откуда, это — психологическое явление, возникающее вследствие неудовлетворенных потребностей. Киреевскому хотелось жить разумною жизнью, хотелось наслаждаться всем, чего просит душа живого человека, хотелось любить, хотелось верить... В действительности не нашлось материалов; а между тем он полюбил ее, обыдеализировал ее, раскрасил ее по-своему и сделался рыцарем печального образа, подобно незабвенному Дон-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донкихотство; где стоят ветряные мельницы, там славянофилы видят вооруженных богатырей; отсюда происходят их вечно фразистые, вечно неясные бредни о народности, о русской цивилизации, о будущем влиянии России на умственную жизнь Европы.

Все это — донкихотство, всегда искреннее, часто трогательное, большею частью несостоятельное.

